

В. Г. Белинский

**Общее значение слова
литература**



Виссарион Григорьевич Белинский

Общее значение слова литература

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2785125*

Аннотация

Белинский рассматривает русскую литературу как огромное социальное явление: она имеет значение не только для одной России, ибо в ней выразилось развитие общечеловеческих, гуманистических идей; и для нас, и для мира она имеет «великое значение не в одном эстетическом, но еще более в историческом значении». Естественно, что на этой теоретической основе им уже прочно утверждается существование оригинальной и замечательной русской литературы, которая «сделалась выражением жизни своего общества, стала русской».

Содержание

Примечания
Комментарии

66

Виссарион Григорьевич Белинский

Общее значение слова литература

Прежде, нежели приступим к изложению истории русской литературы, определим общее значение слова «литература», чтобы потом можно было яснее показать, каким образом и до какой степени *русская литература* соответствует значению *литературы вообще*.

Многие придают совершенно одинаковое значение словам: «словесность», «письменность», «литература» и употребляют их без разбору. Другие, по принципу пуризма, вовсе не хотят употреблять иностранного слова «литература», думая, что его значение вполне выражается русскими словами: «словесность» и «письменность». Пуристы хотели бы совершенно изгнать из употребления слово «литература», как иностранное и притом лишнее в русском языке. Но их усилия остаются бесплодными. Слово существует: стало быть, оно необходимо, и его не может заменить собою никакое другое слово, потому что в языке не может существовать двух слов, совершенно равносильных и тождественных в выражении одного и того же понятия. Если «словесностию»

можно заменить «литературу», то книжное и несколько тяжелое слово «словесник» не может заменить собою слова «литератор». Все говорят и пишут: «литературный журнал», «литературная газета», но никто, под опасением быть или непонятым, или смешным, не скажет: «словесный журнал», «словесная газета». Равным образом можно сказать: «человек есть словесное (в смысле одаренного словом) животное», но нельзя сказать: «человек есть литературное животное». Из этого видно, что ни «словесность» не может совершенно заменить собою «литературы», ни «литература» – «словесности»: оба эти слова равно необходимы, потому что, несмотря на их родственность, есть резкий оттенок в сущности выражаемых ими понятий.

Впрочем, требовать, чтобы три эти слова: «словесность», «письменность» и «литература», никогда не употреблялись одно вместо другого, – значило бы впасть в педантизм, тем более, что эти слова иногда действительно сходятся между собою в значении. Но как, с другой стороны, они часто расходятся в оттенках общего им всем значения, то и странно было бы не определить этой разницы и не воспользоваться ею как средством к большей определительности и ясности в понятиях. Во всех европейских языках употребляется только одно слово – «литература» для выражения понятия, выражаемого по-русски тремя словами – «словесность», «письменность» и «литература»: тем лучше для нас! Значит: в этом отношении наш язык богаче других. Надобно же пользовать-

ся этим богатством.

Письменность и литература прежде всего относятся к словесности, как вид к роду. Понятие, выражаемое словесностью, гораздо общее, нежели понятия, выражаемые *письменностью* и *литературою*: в обширном смысле, словесность заключает в себе и *письменность* и *литературу*, как ее же собственные проявления. Все, что находит свое выражение в слове, все это принадлежит к области словесности: и народная поговорка или пословица – и курс философии; и народная сказка или песня – и эпическая поэма или драматическое произведение как великого поэта, так и бездарного сочинителя; и летопись, и история, и ученое сочинение, и учебник, и лексикон, и каталог книг, и книжка о легчайшем способе отращивать волосы и истреблять мух. К области *письменности* принадлежат те словесные произведения, которые народ, не знавший еще книгопечатания, почел достойными сохранить от забвения посредством письменного искусства. Под *литературою* разумеется или словесность народа, исторически развившаяся и отражающая в себе народное сознание, или какая-нибудь отрасль словесности, обнимающая собою известную сторону искусства и науки. Так, в последнем случае говорится: литература эстетики, литература истории, литература математики, медицины, технологии и т. д., разумея под этим собрание всех сочинений, относящихся до того или другого из исчисленных предметов. Понятие о литературе тесно связано с понятием о книгопечатании.

Из этого видно, что *письменность* и *литература* относятся еще к *словесности* и как постепенные моменты ее развития. Другими словами: *словесность*, *письменность* и *литература* суть три главные периода в истории народного сознания, выражающегося в слове. Сознание всех младенчествуемых народов прежде всего выражается в поэзии, и потому каждый народ и каждое племя непременно имеет свою поэзию, на какой бы низкой степени цивилизации и образования настояли они. Отсюда не исключаются ни номады средней Азии, ни дикари океанийские. Народ или племя может не знать искусства писания, но не может не иметь поэзии. Поэзия младенчествуемых народов состоит не столько в поэтическом содержании и поэтической форме, сколько в поэтическом выражении. Форма и выражение – не всегда одно и то же-, первая относится к расположению, к композиции поэтического произведения; под вторым должно разуметь только склад речи, слог, короче – форму слова. И потому у младенчествуемых народов выражение всегда поэтическое, хотя содержание часто бывает нелепое, а форма чудовищная. Они поэтически выражают и свою опытную мудрость (поговорки, пословицы, параболы, басни), и прошедшее их жизни (предание), и свои космогонические и религиозные понятия (мифы, гимны и т. п.). О таком народе, или племени, можно сказать, что они имеют *словесность*, – и в этом смысле нет на земле народа, ни племени, даже дикого, у которого не было бы словесности. Когда народ знакомится с

искусством письмен, его словесность получает новый характер, зависящий от духа народа и от степени его цивилизации и образованности. Таким образом, самые древние памятники космогонической и мифической поэзии греков дошли до нас, сохраненные посредством письма; по преимуществу народ эстетического чувства, греки, познакомившись с искусством писать, тотчас же поспешили передать хранению буквы прежде всего поэтические произведения их национального духа. Другое зрелище представляют словенские племена в отношении к письменности: этим искусством они обязаны ревности христианских проповедников, которые видели в нем вернейшее средство распространить между ним» евангельское учение. А так как христианство, естественно, произвело в словенских племенах дух безусловного отрицания прежней языческой их национальности, и так как понятие о письменности в уме этих племен тесно слилось с понятием о христианской религии, то письменность и приняла у них характер по преимуществу церковный: славяне считали достойным предавать письменам только книги религиозного и теологического содержания.^[1] К этому присовокупился еще род словесности, бывший долгое время исключительным достоянием монашествующего духовенства — *летописи*. Благодетельные иноки, в назидательное поучение потомству, описывали дела мирские, с тем взглядом на вещи, который невольно сообщало им чувство их разъединения с миром, в недрах тихого успокоения кельи. Естественно, что па-

мятники языческой поэзии были забыты и не вверялись букве. Оттого до нас не дошло не только никаких песен языческого периода Руси, но мы даже не имеем почти никакого понятия о словенской мифологии. Немногие имена богов и названия праздников и обрядов сохранились для нас только в обличительных противу остатков язычества словах ревностных поборников церкви. Если до нас дошло несколько сказок или поэм в сказочном роде, в которых имя «Владимира красна солнышка, ласкового князя киевского стольного» играет значительную роль, — это сделалось как бы случайно. Сказки эти долго хранились в народной памяти и до того изменялись с каждым веком, подновляясь и в языке и в понятиях, что в то время, когда грамотным людям пришла охота положить их на бумагу, они уже совершенно лишились своего первобытного вида. А списаны они с слов народа на бумагу, вероятно, не раньше XVII столетия. «Слово о полку Игоревом» — этот прекрасный памятник уже полужазыческой поэзии, дошло до нас в единственном и притом искаженном списке. Сколько же памятников народной поэзии погибло совсем! Этому причиною было, во-первых, высокое понятие наших предков о достоинстве письменности: они думали, что письмо назначено только для сохранения слова божия и важных дел государственных и что значило бы унижать его, записывая выдумки праздных балагуров и потешников; во-вторых, наши предки, как бы чувствуя бессознательно ничтожность и незначительность их народ-

ной поэзии, по инстинкту не дорожили ее памятниками. И они были правы: гибнет в потоке времени только то, что лишено крепкого зерна жизни и что, следовательно, не стоит жизни. И потому, не презирая уцелевшими остатками нашей народной поэзии, в то же время не будем слишком жалеть об утраченных. Таким образом, период нашей *словесности* до времен письменности для нас погиб невосвратно, а период нашей *письменности*, совпадая в своем начале с эпохой изобретения Кириллом и Мефодием словенской азбуки (эпохой до сих пор еще не определенной с точностью), совпадает в своем конце с эпохой начала русской *литературы*, то есть с эпохой появления первых светских русских писателей. Период русской письменности ознаменовался несколькими (весьма немногими) сочинениями, если не совсем литературными, то и не подходящими под разряд ни теологических, ни летописных произведений словесности.

Литература есть последнее и высшее выражение мысли народа, проявляющейся в слове. Органическая последовательность в развитии – вот что составляет характер литературы, и вот чем отличается литература от словесности и письменности. Если произведение литературы носит на себе печать существенного достоинства, – оно уже не может быть случайным явлением, которое не было бы некоторым образом результатом предшествовавших ему произведений или, по крайней мере, не объяснялось бы ими, и которое бы, в свою очередь, не порождало бы других литературных явле-

ний или, по крайней мере, не имело бы на них прямого или косвенного влияния. Таким образом, не только современная нам французская, но и современная нам германская литература не могут быть поняты и оценены надлежащим образом без знания французской литературы XVII века, – равно как и последняя может быть объяснена только чрез изучение французской литературы века Луи XIV-го. И мало того, что нужно особенное изучение вообще литературы средних веков, чтобы понять французскую литературу XVI и последующих столетии: надобно еще иметь понятие о древней классической литературе греков и римлян, чтоб владеть возможностью изучать какую бы то ни было из европейских литератур от времен возрождения до настоящей минуты. Из этого видно, что всякая сфера, в какой ни развивается дух человеческий, состоит из фактов, органически связанных один с другим и последовательно родившихся один из другого, и что, кроме литературы того или другого народа, есть еще литература всеобщая, человеческая, вселенская, у которой есть своя история. Предмет этой истории: развитие человеческого сознания в сфере слова. Литература, которая не может иметь своей истории, то есть литература, явления которой не состоят в живой органической связи между собою, не есть литература, но только словесность или письменность. Правда, и словесность и письменность могут иметь свою историю, но какую – вот вопрос! История словесности или письменности есть не что иное, как более или менее обширный ка-

талог произведений, хранящихся в памяти народа или в его письменности, – каталог с необходимыми объяснениями и учеными комментариями. Но каталог может служить только материалом для истории, но сам историей быть не может.

Период литературы у всех новейших народов начинается собственно с эпохи изобретения книгопечатания. И потому понятие о литературе у них как-то невольно сливается с понятием о книгопечатании. Действительно, до изобретения книгопечатания словесность Европы, носит на себе характер письменности то есть разъединенности и случайности. Исключение остается почти за одною Италиею, которая считалась уже просвещеннейшею страной Европы, когда еще сама Франция тонула во мраке невежества и дикости нравов. Поэтому Италия гордилась именами Данта, Петрарки и Боккачио еще в XIII и XIV столетиях, тогда как сама Франция только в XVI веке гордилась довольно ничтожными знаменитостями вроде Ронсара, Ренье, Малерба, и только в XVII веке увидела своего первого великого поэта – Корнеля; имена Рабле и Монтаня принадлежат XV и XVI столетию. Правда, еще в средние века являлись великие люди, сильные мыслию и упреждавшие свое время; так, Франция еще в XII веке имела Абеллара; но люди, подобные ему, бесплодно бросали во мрак своего времени яркие молнии могучей мысли: они были поняты и оценены через несколько веков после их смерти. Наука и мысль, до начала XVI века, скрывались во мраке, как чернокнижничество, разбой и контрабанда. Уче-

ные сочинения, как тайна, передавались в рукописях от одного адепта к другому. Словом, это была письменность, но не литература. Только словесность одной Италии и в варварские времена имеет характер литературы; по крайней мере, в Италии поэзия является уже как литература, в то время как в других странах Европы поэзия находилась еще на степени словесности и письменности.

В области словесности нет знаменитых имен, потому что автор словесности – всегда народ. Никто не знает, кто сложил его простые и наивные песни, в которых так бесыскусственно и ярко отразилась внутренняя и внешняя жизнь юного народа или племени. В эпоху младенчества народ и не заботится об именах своих первых поэтов, равно как и сами поэты не заботятся о сохранении их имени в потомстве. В эти времена поэзия – не заслуга, а инстинктивная потребность: человеку поется – и он поет, совсем не подозревая, что он – поэт. И переходит песня из рода в род, от поколения к поколению; и изменяется она со временем: то укоротят ее, то удлинят, то переделают, то соединят ее с другою песнею, то сложат другую песню в дополнение к ней: и вот из песен выходят поэмы, которых автором может назвать себя только народ. После этого понятно, почему письменность, когда она удостоивала своего внимания поэтические произведения, не передавала имен их творцов и мы не знаем имени автора «Нибелунгов» и других поэм в этом роде. Другое дело – литература: ее деятелем является уже не народ, а

отдельные лица, выражающие свою умственную деятельность различные стороны народного духа. В литературе личность вступает в полное право свое, и литературные эпохи всегда означаются именами лиц. Литература образует собою отдельную и самостоятельную область умственной деятельности, существование и права которой признаются всем обществом. Литература всегда опирается на публичность, получает свое утверждение от общественного мнения. Она существует не при свете только уединенной лампы отшельника или гонимого ученого, но при свете солнца, открыто и явно. Она поддерживается не вниманием только небольшого круга посвященных, составляющих род тайного общества, или избранных любителей, но вниманием всего народа, по крайней мере, в лице его образованных классов. Литература есть достояние всего общества, которое через нее обратно получает себе, в сознательной и изящной форме, все то, чему источником было его же собственное непосредственное бытие. Общество находит в литературе свою действительную жизнь, возведенную в идеал, приведенную в сознание. Поэтому в моментах развития литературы, обыкновенно называемых литературными эпохами и периодами, отражаются моменты исторического развития народа, – и в таком случае литература точно так же объясняет собою политическую историю народа, как и история – литературу. Так, история Франции XVIII века вся заключается преимущественно в ее литературе этого времени. Если мы сказали, что по-

нятие о *книгопечатании* почти тождественно с понятием о *литературе*, – это потому, что книгопечатание есть великое и могущественное средство к *публичности*, без которой слово «литература» есть звук без смысла, тело без души. Публичность так важна для литературы, что теперь во Франции вошло в употребление слово *пресса* (la presse – книгопечатание), как выражающее более общее и обширное понятие, нежели слово *литература*. Вся сфера современного общественного движения теперь выражается словом *пресса*: это живой пульс общества, по биению которого вернее, нежели по какому-нибудь другому признаку, можно судить о состоянии общества в отношениях: политическом, административном, ученом, литературном, эстетическом, нравственном, в отношении к народному духу, богатству, промышленности, ремеслам, и пр. и пр. Нет стороны в обществе, которая бы теперь не выражалась *прессой*, не жила в ней и ею. Но из этого не следует, чтобы литература могла быть только у народа, знакомого с искусством книгопечатания: из этого следует только, что *публичность*, в смысле доступности литературных произведений вниманию общества, составляет одно из главнейших условий существования литературы. Книгопечатание есть только могущественнейшее, но не единственное средство к публичности. Под *литературой*, в точном и определенном значении этого слова, должно разуметь *сознание народа, исторически* выразившееся в словесных произведениях его ума и фантазии, – а так как сознание есть

высшее проявление жизни народа, то литература необходимо должна быть его общим достоянием, чем-то таким, что до всех равно касается, всех равно интересует, всем равно доступно. Словом: литература должна быть в отношении к народу вместе и сценою и спектаклем, который на ней разыгрывается, а народ в отношении к литературе должен быть публичною, которая не сводит глаз со сцены, созерцая представляемое на ней зрелище. Лучшее для этого средство, повторяем, есть книгопечатание, — и однакож, несмотря на то, древняя греческая литература, со стороны публичности, едва ли не более подходит под наше определение, нежели любая из новейших литератур, не исключая и французской, хотя греки и не знали искусства печатания. Жизнь греков, политическая, государственная, общественная, религиозная, артистическая, ученая, была и без книгопечатания в высшей степени *публична*, так что книгопечатание, столь важное в новом мире, может быть, противоречило бы духу и характеру их публичности. Хотя произведения поэтов греческих существовали и письменно, тем не менее эллины предпочитали живое изустное слово мертвой букве, и лучше любили слушать, нежели читать. Оттого декламация была у них отдельным и самостоятельным искусством, которое требовало не только изучения, но и природного дарования. Древние читали стихи не так, как читаем их мы, но нараспев; их поэзия тесно была соединена с музыкаю, и певучая декламация стихов их сопровождалась аккомпанементом на лире. От имени

этого инструмента получила свое название *лирическая поэзия*; а от певучей декламации стихов слова *петь* и *воспевать* получили значение слова *сочинять, творить*, что сохранилось, по преданию, от греков, и притом не совсем основательно, и в новейшей европейской поэзии, в которой весьма обыкновенны выражения «пою то-то или того-то», «я пел мою любовь, мои страдания» и т. п. Что греки не читали, а как бы пели свои стихи, это имело у них глубокое основание, ибо происходило не от произвола обыкновения и привычки, а от свойственного и сродного их национальному духу созерцания искусства. У нас каждый сам читает для себя стихи и наслаждается их изяществом так же полно и при дурном чтении, как и при хорошем; для грека хорошо продекламировать стихи было то же, что для нас разыграть музыкальную пьесу. Оттого у нас хорошее чтение стихов есть не больше, — как умение, которое не дает ни славы, ни известности; у греков хорошая декламация стихов была искусством, для которого требовался своего рода талант. Это было одною из причин, почему греческий театр так же мало имел общего с нашим театром, как и наша драма мало имеет общего с греческою. По понятию греков, искусство было представлением, в грандиозных образах, явлений идеальной жизни — род религиозно-государственного представления, героем которого была национальная жизнь. Посему их трагедия могла сосредоточивать свой пафос и свою главную идею на полубогах,

героях¹, царях и народе (который, в виде хора, изъяснял свое мнение о созерцаемом им зрелище); из жизни же своих божественных и царственных героев трагедия греческая могла брать только идеальные, высокие моменты. Поэтому актеры играли на котурне и в маске, в их речи хотели слышать спокойно возвышенный голос, исполненный достоинства и величия; котурн, возвышавший рост актеров, отходя от природы действительности, тем более приближался к натуре идеальности, делая представляемых ими героев как бы жителями другого, высшего мира, для которых были бы унизительны обыкновенные размеры человеческого роста; маски, увеличивавшие собою лица актеров и носившие на себе общее идеальное выражение, также представляли глазам зрителей героев трагедии в особенном идеальном свете. К тому же греческий народ почел бы за профанацию увидеть героя в знакомом ему лице актера. Современность тоже не могла давать содержания для трагедии: нужно было, чтобы колоссальные образы героев представлялись в священном сумраке и таинственной дали веков и предания. Изо всего этого видно, что как трагедия, так и театр греческий были чисто *искусственны*. Здесь слово «искусственный» должно понимать в смысле «художественного», «артистического», противоположного пошлой, повседневной действительности, презренной прозе житейского, а не в смысле противоположно-

¹ От чего и произошло, по преданию от греков, слово *герой* в смысле главного действующего лица в поэме, драме, романе, повести, даже комедии.

го натуре и естественности, поддельного и ложного, как понимаем мы слово «искусственный». Французы XVII и XVIII столетий, проникнувшие отчасти в таинства греческой буквы, но не проникнувшие в таинства греческого духа, не понявши, что у всякого века и всякого народа свои идеи, а следовательно, и свои, соответственные им, формы, – создали у себя искусство на манер древних, тем более не похожее на него, чем более рабски было оно копировано с его непонятых ими форм и внешностей. Французы решились не пускать в трагедию никого, кроме царей и их наперсников, а из простого народа допустили только вестников, заставив их рапортовать надутым слогом о том, что сделалось за кулисами; они забыли, что в новейшем обществе проза жизни получила полное свое право на поэтическое представление и что драма новейшей жизни слагалась из лиц всех сословий.

Этой же страсти греков к живому, изустному слову обязано было своим развитием и процветанием ораторское искусство, кроме дара красноречия, требовавшее еще и необыкновенного дара декламации. Кому не известно, каких чрезвычайных усилий стоило Демосфену, от природы наделенному огромным даром красноречия, выработать из себя настоящего оратора? Но страсть греков к живому изустному слову не ограничивалась только театром и ораторскою кафедрою: предание говорит, что древние поэты Греции – Гомер и Гезиод, особенно первый, и притом слепец и старец, ходя по Греции, пели свои поэмы царям и народам. Пин-

дар состязался с Коринною на олимпийских играх. Оклеветанный в безумии неблагодарными детьми, старец Софокл оправдался перед народом, прочтя ему отрывки из своего «Эдипа». Отец истории, Геродот, читал перед народом, на олимпийских играх, свое повествование о славной борьбе Эллады с персидскими царями; а юноша Фукидит, слушая его, всенародно плакал от умиления, в предчувствии собственного торжества на том же поприще... Самая наука у греков была публичным делом, а не таинственной магиею, как в новейшие времена. Сократ преподавал свое живое учение на площадях и улицах; толпами могли ходить афиняне в сады академии, чтобы внимать урокам высшей мудрости из уст божественного Платона... Причиною такого в высшей степени прекрасного и человеческого зрелища, *единственного*, какое когда-либо представляла собою народная жизнь, был национальный дух древней Эллады – первобытной родины изящной гуманности. Если в Афинах не было равенства состояний и даже равенства просвещения и образования, зато в них не было и *черни*, невежественной, грязной, покрытой лохмотьями, помышляющей только о материальном удовлетворении грубых потребностей тела, чуждой всякого чувства человеческого достоинства: масса афинского народонаселения состояла не из черни, а из *народа*. Образование греков было общественное, а потому и всеобщее, народное, а не исключительное, в пользу одних и невыгоду других сословий. Афиняне столь важным считали публичное воспитание

детей, что когда, при нашествии Ксеркса, они принуждены были оставить свой город, и взрослые сели на суда, чтобы сражаться с неприятелем, а дети, жены и старцы удалились в Тризену, – то тризенцы в числе других знаков своего радушия к афинянам и участия к бедственному положению афинян, определили *платить за их детей жалованье учителям*. Удивительно ли после этого, что Перикл, собираясь говорить перед афинским народом, просил богов, чтобы никакое не приличное предмету или неблагозвучное слово не вырвалось из уст его; удивительно ли, что старая зеленщица афинская по выговору могла признать в ученом греке не-афинского уроженца? Удивительно ли, что афиняне были не только народом войны и гражданственности, но и народом-артистом, народом-художником и что массы афинского народонаселения могли быть судьями и страстными любителями изящного. Когда, обвиняемый в растрате общественной казны на здания, Перикл погрозил заплатить свои деньги, но зато написать на зданиях только свое имя, то народные толпы закричали единодушно, чтобы он не щадил казны на здания... Причиною всего <этого> была публичность, составлявшая основу гражданской жизни греков. Оттого жизнь их отличается полнотою, многосторонностию и какою-то целостностию, так что религия была у них искусством, искусство – религиею, жречество было тесно слито с администрациею; воин во время мира учился мудрости, а мудрец во время войны сражался за отечество, художник был гражданином,

а простолюдин не мог жить без театра. Не так, как в новом мире, где ученый дичится света и боится запаху пороха, военный, как достоинством, хвалится безграмотностию и гордится невежеством, а художник поставляет себе за честь и обязанность жить вне современных интересов общества и за облаками видеть земли, забыв, что облака не другое что, как пустой туман, рассеивающийся от лучей солнца! Да и как понятно после этого, что греки только себя считали людьми, а иностранцев считали варварами и не хотели делиться правами даже с теми, у кого отец или мать не были чистой, беспримесной афинской крови.

Итак, литература греков, в полном значении слова, была выражением их сознания, следовательно, всей их жизни: религиозной, гражданственной, политической, умственной, нравственной, артистической, семейственной. История греческой литературы тесно и неразрывно связана с их государственною или политическою историею; тогда как история литературы новейших народов есть только история одной стороны существования каждого из них. Это оттого, что как в древнем мире все стихии общественной жизни были тесно и неразрывно связаны друг с другом и, взаимно проникая одна другую, образовывали собою прекрасное и живое единое целое, так в новом мире все общественные стихии действуют разъединенно и каждая самобытно и особно. Это распадение, представляющее собою столь печальное и грустное зрелище, особенно при сравнении его с светлым и прекрасным

миром греческой жизни, было, однакож, необходимо для того, чтобы стихии общественности, развиваясь отдельно, тем полнее, глубже и совершеннее разработались, а потом бы уже снова слились и образовали новое, целое и единое, которое будет тем выше мира греческой жизни, чем разъединеннее было в новом мире развитие отдельных стихий общественности. И начало этого нового единения мы видим уже и теперь: стена национальности между народами постепенно падает; дружественно и братски начинают они делиться духовными дарами своего национального исторического развития и постепенно сливаются в единое семейство человечества; наука мирится с жизнью, искусство проникается общественными интересами; ученый принимает участие в делах общества и мирит кабинетную жизнь свою с жизнью светского салона; воин и купец не только ищут литературного образования, но не чуждаются и интересов науки, хода идей. Конечно, все это еще только начало, и все это преимущественно относится пока только к Франции, этой Элладе нового мира, отечеству всемогущей прессы; но за началом всегда следует конец, и скоро, или еще и не скоро, но придет же время, когда в новом человечестве воскреснет древняя Греция, лучшей и прекраснее, чем была она; Греция, прошедшая через христианство, победившая климаты, природу, пространство и время, вполне покорившая духу своему царство материи.

Книгопечатание есть публичность новейших народов, фокус, сосредоточивающий в себе светлые лучи народного со-

знания. Но, как мы уже сказали выше, у новейших народов, несмотря на усиливающиеся со дня на день успехи книгопечатания, литература все еще остается только одною из многих сторон сознания, а не полным его выражением, как в Греции. В самых образованнейших государствах Европы книгопечатание все еще более или менее остается чем-то вроде кабалистики, темные таинства которой открыты только для одной, сравнительно с массою целого народонаселения весьма малой, части: большинство, нигде не лишенное благотельного влияния цивилизации, тем не менее везде коснеет в диком невежестве, которое сильно заставляет сомневаться в чрезвычайных будто бы в настоящее время успехах человечества. Сама литература у новейших народов раздроблена на множество отраслей, так что знакомый с одною почитает себя вправе не знать других. Впрочем, это нисколько не отрицает существования литератур, в полном значении этого слова, у новейших народов: ибо хотя большинство и массы не пользуются у них, как это было в древней Греции, дарами национального духа, которого они сами источник и почва, однако внимательный взор легко открывает в литературах новейших народов живое историческое развитие духа тех самых масс, которые, в своем невежестве, и не подозревают существования литературы, выразившей сущность их же собственного нравственного существования. И потому литературы новейших народов представляют собою картину исторически развившегося народного духа, где каждое

отдельное явление вышло из предшествовавшего и произвело, в свою очередь, последующее, где ничего не являлось случайно, особно, но все связано в единый живой организм.

Мы сказали, что литература есть сознание народа, исторически выражающееся в словесных произведениях его ума и фантазии. Историю может иметь только то, что органически развивается, имея точкою отправления зародыш, зерно национального духа народа (субстанцию), выходя из предыдущего и производя последующее. Развиваться же органически может только то, что в самом себе заключает собственное свое содержание, подобно зерну, заключающему в себе как возможность жизнь и форму будущего растения, а потому и одаренному жизненностию, которая, при выполнении необходимых условий – почвы, воздуха, света, влажности, тотчас же принимается за отправление своих функций, превращая зерно в стебель, стебель в ствол с ветвями и листьями, с цветом и плодом. Вследствие этого литературу могут иметь только те народы, в национальном развитии которых выразилось развитие человечества и которым, следовательно, миродержавные судьбы предоставили высокую роль представителей человечества в великой драме всемирной истории. И потому-то из древних народов только у греков и римлян была своя литература, которой высокое значение не утратилось до сих пор, но, как драгоценное наследие, перешло к новым народам и послужило к развитию их общественной, ученой и литературной жизни. Причиною этому –

богатое содержанием субстанциальное зерно духовной жизни греков: в этом зерне заключалась плодородная идея, из которой развилась вся история, а следовательно, и литература этого народа. Идея эта была общечеловеческая в греческой форме, а потому и греческая литература, отслуживши грекам, не умерла вместе с ними, но перешла в общее достояние народов, в лице которых, после греков, стало выражаться человечество. Литература римлян не имеет такого высокого значения в сфере искусства, как литература греческая; лучшее и величайшее произведение римлян был *кодекс Юстиниана* – плод исторического развития римской жизни. И однакож зерно национального духа римлян, развившееся в «вечный город», оцивилизовавшее весь древний мир и давшее новое направление цивилизации новейшего мира, включает в себе такое великое, всемирно-историческое и общечеловеческое значение, что ради его латинская литература, поэтическая <и историческая, возросшая,> так ска<зать, на могиле римской> жизни, <доселе уважается> почти наравн<е с греческо>ю.^[2] И чем общечеловечественнее оплодотворяющая жизнь народа субстанциальная идея, чем более народ выражает своею жизнью человечество и чем более имеет влияния на его судьбы, – тем более литература такого народа подходит под значение литературы вообще, тем она выше и важнее. И наоборот, чем меньше источник духовной жизни народа, чем отдельнее судьба народа от судеб человечества, – тем ограниченнее значение его литературы, тем

менее она – литература. И потому-то гораздо более таких народов, которых литературы или незначительны, или у которых вовсе нет литературы, чем народов, которых литературы значительны или которые имеют какую-нибудь литературу.

Говоря о литературе, мы преимущественно разумеем *изящную литературу* – круг произведений поэтических, художественных. Сюда, для полноты слова «литература», могут относиться и такие словесные произведения, которые, принадлежа к сфере ученой, как история, или, имея своим источником определенную практическую цель, как ораторские речи, тем не менее составляют собою предмет живого общего интереса и требуют для своего выражения более или менее художественной формы, а от людей, посвящающих себя такого рода деятельности, – более или менее художественного таланта. Таким образом, творения Геродота, Фукидита, Тацита, ученые по своему содержанию, в то же время суть и изящные произведения по искусству их концепции и изложения. О речах Демосфена и Цицерона нечего и говорить: хотя красноречие и не вполне искусство, как поэзия, потому что оно имеет определенную, чисто практическую цель и опирается на диалектику, а не на творчество, но все же оно – искусство, потому что требует от импровизации художественности в выражении, а от оратора – таланта и вдохновения.

С этой точки зрения, *литература* и *словесность* представляются в новых отношениях различия между собою. По-

эзия, не возвысившаяся на степень искусства, художества, принадлежит к области словесности, а не литературы. Такая поэзия называется *народною*. Она выражает собою сознание народа, еще не вышедшее из пелен непосредственного, бессознательного созерцания. В произведениях народной поэзии еще нет мысли, а есть только темное стремление к мысли, ее предощущение, предчувствие. И потому произведения народной поэзии не могут возвыситься до художественной формы, в которую может только воплощаться развившееся до *идеи* созерцание. Вследствие этого народная поэзия одного народа мало и не вполне доступна другому: на ней лежит печать исключительной особенности. Сфера народной поэзии не обширна и не многосложна: пословица, поговорка, параболы, басня, песня, сказка, легенда – эти первые проявления сознания младенческих обществ – вот все, что заключает в себе поэзия, которую называют народною, естественною или непосредственною и которую еще можно назвать поэтическою словесностию народа. Если субстанциальное зерно духовной жизни народа попадает на историческую почву и получает возможность развиваться из самого себя, – тогда *естественная* поэзия народа перерождается в *художественную*, его *словесность* – в *литературу*, и первая остается преимущественно на долю низших, необразованных классов народа, никогда не умирая в его устах, а вторая делается исключительным достоянием высших, образованных классов народа. Когда наступает период исторической

и критической разработки литературы, *естественная*, или *народная* поэзия, то есть *словесность*, становится предметом изучения для ученых и литераторов, а через них делается известною и читающей публике и более или менее интересуется ее своими наивными произведениями. Художественная же поэзия только разве через театр бывает более или менее доступна низшим классам народа. Если содержание жизни народа лишено общечеловеческого значения, так что без искусственного и насильственного отрицания своей национальности и своего исторического развития, в пользу цивилизации народов, представляющих в лице своем человечество, он не может возвыситься до значения всемирно-исторического народа: то из естественной поэзии такого народа не может развиваться художественная, а из его словесности – литература. Тогда словесность такого народа остается исключительным достоянием простонародья, а для образованных классов создается подражательная литература, господствующая до тех пор, пока чужеземные элементы не проникнут национальных и, вследствие этого, не возникнет, наконец, литература самобытная. В последнем случае народная поэзия вновь обращает на себя внимание образованных классов и, по духу реакции, делается предметом подражания даже со стороны истинных художников; но скоро узнают, что из нее немного выжмешь, и отводят ей укромное место в истории отечественного слова, отдельно и без связи с историею собственно литературы. Так было, как увидим ниже, с на-

родною поэзиею в России.

Произведения словесности, непосредственно выходя из духа народа, носят на себе общий отпечаток этого духа и в содержании и в форме: этим одним и ограничиваются их отношения и связь между собою. Ни одно из них не имеет влияния на другое, ни одно не бывает следствием другого; они являются отдельно, разрозненно, и для них, следовательно, нет истории. Память народа хранит их также отрывочно, не зная их числа, многие из них изменяя, другие забывая совсем. Из этого общего правила должна быть исключена только греческая народная поэзия, в первых проявлениях которой виден зародыш, из которого впоследствии развилась вся греческая литература. Глубокие философские идеи скрыты в гимнах поэтов до омировского времени, и эти гимны приписываются известным именам, а не безличному лицу народа. Оттого и самая форма первых проблесков возникавшего народного сознания в греческой поэзии не чужда некоторой художественности, хотя в то же время их содержание и исполнено символизма. И потому у греков почти не было ни народной поэзии, ни словесности в том смысле, как мы понимаем эти слова, но была художественная поэзия и литература. Их литература, с самого начала ее, теряющегося во мраке времен, была *национальною*, а не *народною*, потому что в Греции народ никогда не составлял особенного государства в государстве, никогда не был *чернью*, и творения Омира и трагиков точно так же существовали и для него, как

и для высших сословий. В греческой литературе нет резкой черты, которая бы отделяла их младенческую, естественную поэзию от художественной; напротив, в ней все вытекает одно из другого, подобно реке, становясь в своем течении все шире и шире... Хотя некоторые из новейших литератур тоже связаны с своею естественною поэзиею и развились из нее, однакож эта связь в них далеко не так тесна, как в греческой. Если песня, романс и баллада – эти чисто народные произведения Европы средних веков – были началом и источником художественной лирической поэзии в Европе, – то все же между каким-нибудь Байроном, Гёте и Шиллером едва ли есть так много общего с менестрелями, трубадурами, труве-рами и бардами, как много общего в гимнах, приписываемых Лику, Музею и Орфею, с позднейшими гимнами Изиода и Омира, с «Илиадою» и трагиками. Если испанская и английская драма развились из мистерий средних веков, как греческая из вакхических праздников, то все же нет ничего общего между этими мистериями и драмами Шекспира и по крайней мере очень немного общего между этими мистериями и драмами Лопеца-де-Веги и Кальдерона, не говоря уже о французской трагедии, которая, вследствие ошибочного подражания греческой, пошла совершенно другою дорогою.

Письменность служит, хотя и не всегда, естественным переходом от словесности к литературе; ею иногда как бы оканчивается словесность и начинается литература. Пись-

менность, оказывает великую услугу словесным произведениям народа, освобождая их от непосредственной принадлежности лицам и избавляя от опасности погибнуть навсегда с лицами вследствие разных случайностей. Но эта услуга не полная, потому что рукопись так же, в свою очередь, подвержена влиянию случайностей: может сгореть, потонуть, сгнить, затеряться. «Слово о полку Игореве» дошло до нас в единственном списке, и то искаженном местами до бессмыслицы. А кто поручится, что древняя Русь не имела и других поэм вроде «Слова о полку Игореве», которых не сохранила для нас письменность? Сколько погибло памятников древней литературы Греции и Рима?

У народов, не игравших всемирно-исторической роли, письменность мало или почти никаких услуг не оказала поэзии, как мы уже говорили об этом выше. Так, до нас дошли только те из русских песен, которые сохранились в памяти народа, хотя и измененные временем. Но совсем другую роль играла письменность у народов, которые, своею жизнью, выразили движение всемирно-исторического духа. Так, например, когда монархия Александра Македонского рушилась, мир греческой жизни уже отцвел и свиток рукописи заглушил собою живое изустное слово: тогда явилась письменная литература, образовавшая нечто целое и единое соединением в себе произведений так называемой «Александрийской», или «Неоплатонической школы». Так, впоследствии, творения отцов церкви христианской всегда образовывали

собою, и на Востоке и на Западе, отдельную литературу, которой развитие совершилось в связи и последовательности и которой история тесно связана с историей человечества в ту великую эпоху.

Существенное и главное различие между «словесностью» и «литературою» состоит в том, что в «словесности» преобладающим интересом является *язык* как материал всякого словесного произведения; а в «литературе» самостоятельный интерес языка исчезает, подчиняясь другому, высшему интересу *содержанию*, которое в литературе является преобладающим и самостоятельным интересом. И потому, если может быть история *словесности*, так это в смысле истории развития языка в словесных произведениях народа, без отношения к их содержанию. А оттого «словесность» и принимается в смысле науки, и можно сказать: «учиться словесности». В этом отношении *словесность* соприкасается в своем значении с *филологиею*. Но литературе нельзя *учиться*, а можно только *изучать* литературу. Словесные произведения могут рассматриваться со стороны *этимологии, графики, лексикографии, грамматики, стилистики*. Словесные произведения народа могут разделяться по содержанию только внешним образом, чтобы поэтические памятники не смешивать с летописями и памятниками духовной, юридической словесности; но главное и существенное их разделение бывает по эпохам, в которых совершились изменения, испытанные языком в его развитии во времени. Когда же

словесные произведения рассматриваются со стороны их содержания, мимо интереса языка, тогда они совершенно выходят из сферы словесности и поступают в ведение той науки, к которой относится их содержание: так, например, произведения духовного содержания отходят тогда к церковной истории, летописи и хроники – к политической истории, памятники законодательства, судебные и т. п. – к истории права, и т. д. Вообще, словесность не разборчива: она принимает в себя равно и худое и хорошее, и посредственное и превосходное, лишь бы оно выразилось в слове. Литература исключает из себя все случайное и признает своими произведениями только то, в чем положительно или отрицательно выразилось диалектическое движение развивающейся во времени идеи. Поэтому к литературе относятся даже и такие произведения, в которых видно уклонение от здравого вкуса и основных законов творчества, если только это уклонение было не случайное, но или выразило собою, необходимо, вследствие глубоких исторических причин, родившееся заблуждение общества или и целого человечества (как, например, псевдоклассическая поэзия во Франции XVII и XVIII веков и морально-романическая школа, в Англии XVIII века, школа Фильдинга и Ричардсона), или необходимый переход от старого к новому (как, например, неистовые произведения новейшей романтической школы). Напротив того, литература исключает из себя даже ознаменованные большею или меньшею степенью таланта произведения, если только

они, не принадлежа к высшим явлениям в сфере искусства, в то же время не выражают собою духа времени, его господствующей идеи, а потому и лишены всякого исторического значения. В область литературы входят только родовые типические явления, которые фактически осуществили собою моменты исторического развития. И потому всякая литература имеет свою историю, тогда как словесность может иметь только библиографию. Задача всякой *истории* состоит в том, чтобы подвести многообразие частных явлений под общее значение, открыть в многообразии частных явлений органическую связь, взаимодействие и отношения и проследить в последовательности многообразных явлений развитие живой идеи, составляющей их душу. Задача *библиографии* состоит только в том, чтобы *описать* каждое из данных произведений словесности по его содержанию, форме, особенностям. Библиография говорит просто: такая-то рукопись или книга включает в себе то-то и то-то, принадлежит она к такому-то веку, писана на пергамене или на бумаге, уставом, столбцами, или печатана таким-то шрифтом, в такую-то долю листа, и т. п. Если библиография соблюдает какой-нибудь порядок, то всегда внешний, для удобства употребления, а не по требованию сущности предмета; она классифицирует рукописи и книги, как классифицируют их каталоги и реестры. Поэтому произведения словесности суть как бы тени, являющиеся на заклинания магика; произведения литературы – живые, всем известные и для всех рав-

но доступные лица с определенными именами. Лаборатория словесности – келья монаха, уединение мудреца, зал пиршества, темный лес, зеленые дубравы и широкие поля; отсюда выходили все произведения ее – хроники, летописи, поучения, легенды, песни, сказки и т. п. Лаборатория литературы – общество с его интересами и жизнью. Словесность лишена арены: она может интересоваться только любознательных ученых, тружеников науки, книжников, литераторов, которые одни только и могут ею заниматься. Литература имеет определенную арену в книге, журнале, театре, трибуне; она сама есть род сцены, на которой разыгрывается драма перед лицом многочисленного собрания, изъявляющего рукоплесканиями и кликами свое участие и восторг.

Письменность есть средство равно и для словесности и для литературы, сохраняя произведения первой и выражая собою движение последней. Если в письменности выражается дух эпохи и она принимает характер не только догматический, но и полемический, тогда она бывает литературой или по крайней мере служит переходом от словесности к литературе. Разумеется, это бывает только у народов, стоящих во главе человечества, и притом в самые жизненные эпохи своего исторического существования. Так было, как сказали мы выше, в первые века христианской церкви, во время расколов и соборов; так было в Западной Европе средних веков, где из богословской полемики образовалась диалектика, логика и метафизика. Но письменность во всяком случае пред-

ставляет для развития литературы слишком тощую почву и ограниченную сферу, и без книгопечатания новейшая литература навсегда бы могла остаться слабым растением, поддерживаемым искусственными средствами. С другой стороны, не должно забывать, что у народа, лишенного духа всемирно-исторической жизни, и книгопечатание не родит литературы: будут книги и, пожалуй, в огромном количестве, но литературы все-таки не будет.

Выше сказали мы, что «литература есть выражение умственного существования (сознания) народа в его словесных произведениях». Каждый народ живет своею жизнью, а как жить не значит только родиться, есть, пить и умирать, но и мыслить, знать, – то, следовательно, каждый народ живет и своим сознанием, которое есть не что иное, как одна из многих сторон сознающего себя общечеловеческого духа. Особенность сознания, принадлежащего одному народу и отличающего его от всех других народов, состоит в его мирозерцании, в том инстинктивном внутреннем взгляде на мир, с которым он, так сказать, рождается, как с непосредственным и только одному ему присущим откровением истины и который есть его самодвижительная сила, жизнь и значение. Мирозерцание народа – это та умственная призма, с одним или несколькими первосущными цветами радуги, сквозь которую он созерцает тайну бытия всего сущего. Народ есть идеальная личность, у которой, подобно каждому отдельному человеку, своя особенная натура, свой тем-

перамент, свой характер, словом, своя *субстанция* (слово, которого значение далеко не вполне может быть выражено словом *сущность*). Почему у того или другого народа именно такая, а не этакая субстанция, – этого так же невозможно объяснить, как и того, почему один человек рождается с способностью к живописи, а не к музыке, другой – к математике, а не к военному искусству, и т. д. Правда, на образование субстанции народа имеют большее или меньшее влияние географические, климатические и исторические обстоятельства; но тем не менее очевидно, что первая и главная причина субстанции всякого народа, как и всякого человека, есть физиологическая, составляющая непроницаемую тайну непосредственно творящей природы. Субстанция, в свою очередь, есть прямой и непосредственный источник мирозерцания народа. Из мирозерцания народа возникает животворная идея; развитие этой идеи в живой практической деятельности составляет историческую жизнь народа. Движительным развитием этой идеи народ живет; ею он и силен, и крепок, и могущ, так что, когда эта идея совершит полный круг своего развития, – животворный источник народной жизни иссякает, народ теряет свою энергию и начинает существовать только внешним образом, пока какой-нибудь внешний же толчок не прекратит его призрачного существования. Так кончилось существование Греции и Рима, когда первая изжила всю свою религиозно-мифическую и эстетически-гражданственную жизнь, а второй утратил энтузиазм

республиканской доблести. Миросозерцание, а следовательно, и субстанциальная идея народа проявляется в его религии, в его гражданственности, в его искусстве и знании. Уловить миросозерцание какого бы то ни было народа в краткое и удовлетворительное определение чрезвычайно трудно; довольно указать на его присутствие в многообразных проявлениях народного сознания. В Индии, например, издревле до наших времен царствует пантеистическое миросозерцание, и бог понят как вечно производящая и вечно разрушающая сила природы. Для индийца каждое явление природы есть воплощение Браммы, и потому для него всё в природе выше человека, и он набожно хранит жизнь всякого животного, хотя бы то было насекомое, и небрежет о своей собственной и своих ближних. Погружаться в созерцание совершенств Браммы, исчезать в восторженном блаженстве этого пиэтистического созерцания и духом и плотью – цель жизни индийца. И потому-то в Индии в таком употреблении добровольно терзать свою плоть физическими муками, бросаться под колеса гигантского истукана, сжигаться на кострах и т. п. Это миросозерцание отразилось и в искусстве индийском. Неопределенное божество, подавляющее бедного человека своим всеокрушающим величием, не могло выразиться иначе, как в храмах колоссальных, подобно горам, в гигантских и уродливых истуканах. То же явление повторилось и в литературе: «Махабгарата» и «Рамаяна», по их внешней форме огромны, нестройны, завалены эпизодами;

по содержанию исполнены присутствием божества, производящего и разрушающего, и человек в них с безусловным самоотвержением поглощается в деспотической воле этого страшного божества, из-под бесчисленных образов которого всегда выглядывает обоготворенная материя вселенной. В Персии это пантеистическое божество отрешилось от всякой образности, из царства видимой природы перешло в царство духов (самодельствующих и первосушщих сил природы) и распалось на двойственное и враждебное себе самому понятие добра и зла. В племенах симических божество, отрешившись от всякой образности, явилось бесплотною и отвлеченною идеею *всесущности* – безличною индивидуальностию. Это мирозерцание перешло впоследствии и в муггамеданство. Но, несмотря на свою духовность, оно есть тот же индийский пантеизм, только на высшей ступени своего развития. В Египте видна борьба природы с человеком: египетское ваяние коснулось и человека, но этот человек лишен жизни, связан и блещет только мертвою правильностию черт лица. Часто он является там неотделенным от животного, и в сфинксе выразилось торжество египетской фантазии, не могшей ни оторваться от животного, ни возвыситься до человека. В Греции, в лице мифического Эдипа, человек победил сфинкса, разгадав его загадку, смысл которой был – «человек», и в разгадке которой выразилось самосознание человека. Сфинкс от стыда и досады бросился в море, а человек остался царем на земле. И потому, если грек очелове-

чил божество, выразившееся на Востоке только в животных образах, то и обожествил человека – и это не в одном изяществе благородных форм его тела, но и в духовном стремлении его к истинному, прекрасному, доблестному, которое, по понятию грека, было *божественным*, хотя в нем и отразилась его же собственная человеческая сущность. Итак, по созерцанию элина, божественное внешнего человека состояло в *красоте*, а божественное внутреннего человека состояло в *героизме*, в смысле борьбы долга с роком, – и там, где победа оставалась за человеком, человек делался выразителем и представителем божественного, а где человеческая личность побеждалась страстью и эгоизмом, там *божественное* являлось торжествующим в трагической катастрофе падшей нравственно личности. Во всем, и в природе, и в духе человека, и в религии, и в гражданственности, и в искусстве, грек искал и находил – божественное и упивался им в блаженном созерцании. Цель жизни для грека было наслаждение, заключавшееся в одном божественном. И потому у грека самая чувственность была обожествлена чувством красоты и изящества, которые тесно были соединены в его созерцании с чувством нравственного. Жрец ли, воин ли, администратор ли, мудрец <ли>, художник ли, гость ли на пиру: грек везде священнодействовал, везде был актером, который берет себе роль, чтобы, слившись с страданием и блаженством героя драмы, насладиться и своим с ним единством и своею от него особенностью в одно и то же время. Вот это-то *миросозерца-*

ние и лежит в основе каждого художественного произведения греческого, а следовательно, и в греческой литературе, лежит в их основе, как мысль затаенная, но тем не менее ясная и ощутительная, как национальный мотив, по которому узнают музыку того или другого народа во всех его песнях. И это-то миросозерцание и составляет то вечное и непреходящее, то божественное греческой литературы, которое и сделало ее общим достоянием человечества, несмотря на изменение нравов и понятий, в течение тысячелетий, которое пережило эмпирическое существование греков и умрет только с человечеством, если человечество может умереть. В греческом миросозерцании мы видим торжество развития древнего мира, видим в ней цветом то, что в Индии было корнем, в Египте стеблем и листьями. По этому самому даже искусство и литература индийцев имеют всемирно-историческое значение, как выражение ступени всемирно-исторического развития. Египтяне оставили памятники своего интеллектуального существования преимущественно в зодчестве и ваянии, в громадной нескладности и животных типах которых выразилось окончательное обожествление природы и порывание к идее человека. И потому египетское искусство тоже имеет всемирно-историческое значение. Но несравненно выше их всемирно-историческое значение греческого искусства и греческой литературы, в которых все, что в других древних народах проявлялось неопределенно, разрозненно, чудовищно, явилось определенно, полно и изящно.

Пантеистическое миросозерцание, отправившееся от Индии, через Персию, к симическим племенам и принявшее отвлеченно-духовный характер, миновало Грецию и перешло в Европу средних веков, преобразованное христианством; а в Азии преобразовалось в магометанство. Нет нужды доказывать, что священная литература евреев имеет всемирно-историческое значение; но должно сказать, что поэзия восточных народов, как до исламизма, так и во время его владычества, имеет свое всемирно-историческое значение в той мере, в какой выражается в ней пантеистическое миросозерцание. В Европе новых времен, по исходе средних веков, гений Востока, развивавшийся мимо Греции, снова встретился с древнеевропейским миром, через знакомство с литературой Греции и Рима.

У римлян, как у народа, по преимуществу, практически-деятельного, не могло развиваться ни самостоятельной поэзии, ни самобытной литературы: литература их есть подражание греческой и явилась у них при крутом повороте римской жизни к упадку и гниению. Латинская литература преимущественно заключается в речах ораторов и в исторических творениях, которых характер более риторический, как оно и должно было быть у народа общественного, где красноречие имело характер судебный и политический. Истинная латинская литература, то есть национальная и самобытная латинская литература, заключается в Таците и сатириках, из которых главнейший – Ювенал. Эта литература явив-

шаяся в эпоху крайнего разложения стихий общественной жизни римлян, имеет высокое значение высшего нравственного суда над сгнившим в разврате обществом, что и дает ей по преимуществу всемирно-историческое, а следовательно, и никогда не умирающее значение. Литература же великого и цветущего Рима преимущественно заключается в его законодательстве.

На позорище нового мира три нации представляют в своем лице современное нам человечество – Франция, Германия и Англия. Прежде них вышедшая на поприще всемирно-исторической деятельности, Италия уже как бы умерла в настоящее время и в летаргическом усыплении, с тоскою, тщетно ожидает своего возрождения для будущего. Мы говорим не о политическом, а о нравственном, духовном существовании народов. Италия, по разрушении Рима варварами, никогда не играла сколько-нибудь значительной роли в политическом мире и только хитростию отделялась от многочисленных врагов, и с севера и с юга беспрестанно наводнявших собою ее прекрасную почву. Германия и теперь не одно государство, не один народ, а множество государств и народов, и в политическом мире не Германия, а Пруссия и Австрия играют теперь первостепенные роли. Но предмет нашего исследования – не Пруссия, и еще менее Австрия, а Германия, или, лучше сказать, дух германского племени, его нравственное, а не политическое владычество в современном мире. И вот в этом-то отношении Италия – страна

мертвая в наше время. А какую блестящую роль играла она еще в то время, когда вся остальная Европа была погружена во мрак варварства! Еще тогда в ней была уже цивилизация – отблеск наследованной ею классической цивилизации, утонченность нравов, наука и искусство. В XIII и XIV столетиях, как мы уже говорили об этом выше, Италия имела уже Данта, Петрарку и Боккачио; в XVI – Ариоста и Тасса; но не этим только ограничивалось владычество Италии в сфере искусства: Италия – отечество зодчества, живописи, скульптуры, музыки. Нет никакой нужды приводить здесь имена ее великих художников: они так известны всем. Италиянец это – или артист, или дилетант уже по самой натуре своей; он рождается или артистом, или дилетантом. Гондольер в Италии поет октавы Тасса, народ аплодирует при появлении на улице какого-нибудь знаменитого маэстро. Путешественники всех стран не могут наудивляться правильной и благородной красоте римского простонародья, искусству римского крестьянина драпироваться своим бедным плащом и принимать живописные позы во всех его положениях. Земля священных развалин, почва, усеянная памятниками и обломками древнего искусства, царство благодатной и роскошной природы, вся прелесть, вся наслаждение, вся восторг и вдохновение, – поэтическая, живописная и певучая Италия, в артистическом отношении, была наследницею древней Греции. Она царила в области изящного, в области вкуса. Что было этому причиною, если не субстанция народа? Скажут

– это направление произвели обстоятельства, вид памятников древнего искусства, непосредственное наследие древней цивилизации. Но почему же римляне, ограбившие Грецию произведениями ее искусства, почему они, несмотря на то, попрежнему остались народом без эстетического вкуса, без всякой способности к творчеству, потому что все, даже позднейшие произведения древнего резца, уже ознаменованные признаками упадка искусства, были делом рук греков, приехавших или переселявшихся в Рим? Чтобы Италия сделалась отчизною искусств, римской крови нужно было возродиться через смешение с кровию готфов и лонгобардов...

Другая роль в человечестве суждена французам, немцам и англичанам – этим трем национальностям, идущим теперь во главе человечества. Германия и Франция представляют собою два противоположные полюса, две противоположные крайние стороны духа человеческого: первая, вся – мысль, вся – созерцание, вся – знание, вся – мышление; вторая, вся – страсть, вся – движение, вся – деятельность, вся – жизнь. Германия понимает (созерцает) природу и человека, словом – действительность, понимает ее не иначе, как предмет для сознания, – и отсюда мыслительно-созерцательный, субъективно-идеальный, восторженно-аскетический, отвлеченно-ученый характер ее искусства и науки. Оттого и само искусство ее не что иное, как параллель философии, как особенная форма созерцательного мышления, и оттого же и всемирно-исторический характер произведений ее литературы

– и науки и поэзии. Отсюда же проистекает и яркая противоположность между высоким, всемирно-историческим значением немцев в науке и искусстве и их пошлостью в гражданском и семейственном быту. Франция, напротив, понимает жизнь как жизнь, а мысль как деятельность, как развитие общности, как приложение к обществу всех успехов науки и искусства. Для немца наука и искусство – сами себе цель, самостоятельная и священная сфера, которую значило бы профанировать, внося в нее что-нибудь от мира или требуя от нее вмешательства в дела жизни; для француза наука и искусство – средства для общественного развития, для отрешения личности человеческой от тяготящих и унижающих ее оков предания и временных (а не вечных) общественных отношений. И вот причина, почему литература французская имеет такое огромное влияние на все образованные и даже полуобразованные народы мира; вот почему даже ее летучие, эфемерные произведения пользуются такою всеобщностию, такою повсюдною известностию. Немец бьется только из того, чтобы понять истину, а поймут ли его самого, – об этом он мало заботится; он пишет для тружеников истины, готовых добиваться ее в поте лица, для ученых; людей просто общества он и знать не хочет. Отсюда туманность, неуклюжесть и часто педантизм немецкого способа писать и выражаться. Француз, по преимуществу человек общительный и общественный, исполненный симпатии к людям и обществу, прежде всего заботится о том, чтобы его поняли все, и

скорее решится пожертвовать глубиной мысли, лишь бы только быть понятым, нежели заслужить упрек в темноте изложения, оставаясь глубокомысленным. Оттого немцы из самых популярных предметов умеют сделать род элевзинских таинств; а французы из самых отвлеченных и сухих предметов умеют сделать общедоступный и увлекательный предмет знания. Положите немца в тиски, – ему и в них будет хорошо, если он поймет их механизм и *переведет их значение на язык науки*; французу всегда тесно и на просторе, потому что для него жить – значит беспрестанно расширять горизонт жизни. Немец сознает действительность; француз творит ее. Немец любит знание о человеке; француз любит человека. Особенность каждого из народов резко выражается в их литературе, и эта-то особенность и дает литературе каждого из них всемирно-историческое значение. Примирение и взаимное проникновение немецкого и французского элементов, если оно произойдет, как и должно ожидать этого, никогда не изгладит ни особенности, ни самостоятельности той и другой литературы, но придаст им еще большее всемирно-историческое значение и будет истинным торжеством для человечества.

Гораздо труднее характеризовать и определить всемирно-историческое значение английской нации и ее литературы. Английская национальность доселе представляет собою зрелище самых поразительных противоположностей. Всегда живя и действуя вне человечества, погруженная в свой наци-

ональный эгоизм, Англия тем не менее служит человечеству, заботясь только о собственных выгодах на чужой счет. Распространяя свою всемирную торговлю, а для этого распространяя свои завоевания на всем земном шаре, она по всему лицу его разносит семена европейской цивилизации. Опередивши всю Европу в общественных учреждениях, на совершенно новых основаниях, Англия в то же время упорно держится феодальных форм и чтит букву закона, потерявшего смысл и давно замененного другим. Политическое и религиозное ханжество англичане считают своею обязанностию, своею добродетелью, потому что она им полезна, как опора их *statu quo*.² Нигде индивидуальная, личная свобода не доведена до таких безграничных размеров, и нигде так не сжата, так не стеснена общественная свобода, как в Англии. Нигде нет ни такого чудовищного богатства, ни такой чудовищной нищеты, как в Англии. Нигде так не прочны общественные основы, как в Англии, и нигде, как в ней же, не находятся они в такой опасности ежеминутно разрушиться, подобно чересчур крепко натянутым струнам инструмента, ежеминутно готовым лопнуть. Народ по преимуществу практический, промышленный, торговый, мануфактурный, словом, утилитарный, англичане сильны в положительных науках, особенно в их применении к практике; философия же и вообще все умозрительные знания находятся в Англии в самом жалком положении. Но плохие и ничтожные мыслители, ан-

² Сохранение существующего порядка. – *Ред.*

гличане обладают такую художественную литературу, которую скорее можно поставить выше, нежели ниже всякой другой европейской литературы. Что же, какая же сторона английской национальности преимущественно отразилась в английской литературе? Трудно сказать это. Читая Шекспира и Вальтера Скотта, видишь, что такие поэты могли явиться только в стране, которая развилась под влиянием страшных политических бурь, и еще более внутренних, чем внешних; в стране общественной и практической, чуждой всякого фантастического и созерцательного направления, диаметрально противоположной восторженно-идеальной Германии и в то же время родственной ей по глубине своего духа. Читая Байрона, видишь в нем поэта глубоко лирического, глубоко субъективного, а в его поэзии – энергическое отрицание английской действительности; и в то же время в Байроне все-таки нельзя не видеть англичанина и притом лорда, хотя, вместе с тем, и демократа. Страна всеобщего тартюфства, Англия имела историка Гиббона. Сколько противоречий! Но из этих-то противоречий и вышел тот мрачный титанический юмор, который составляет характеристическую черту английской литературы, резко отличающую ее от всех других литератур. Англия – отечество юмора, который теперь более или менее привился ко всем европейским литературам и который составляет могущественнейшее орудие духа отрицания, разрушающего старое и приготавливающего новое. Английский юмор есть искупление национальной ан-

глийской ограниченности в настоящем и залог ее будущего выхода из ограниченности.

Впрочем, всемирно-историческое значение литературы есть только высшая степень ее достоинства, но не есть необходимая принадлежность. Могут быть литературы и без всемирно-исторического значения, но органически развившиеся и имеющие свою историю. Только важность подобной литературы гораздо значительнее для того народа, которому она принадлежит, нежели для других народов. Всемирно-историческое значение литературы дает ей интерес общий, делает ее известною всем народам; тогда как круг влияния и очевидность важности литературы, не имеющей всемирно-исторического значения, ограничивается пределами выражаемой его национальности. Таковы литературы: шведская, датская, голландская, польская, богемская. Они могут блеснуть именами знаменитых талантов, но интересны они, более или менее, только именно произведениями этих талантов, а не совокупностью всех своих произведений. Так известны в Европе имена Эленшлегера, Тегнера, Мицкевича; сочинения их даже переводятся на иностранные языки; но зато, кроме этих писателей, более никто не известен за пределами своего отечества. Итак, по одному знаменитому имени на каждую литературу! А между тем в каждой из этих литератур есть много писателей даровитых и замечательных, хотя не столь знаменитых, как те, которых мы назвали; но влияние и значительность этих талантов важны только у се-

бя дома. Они оказали услуги, может быть весьма большие, своему языку, своей литературе, своему отечеству, но не человечеству, – и потому их знает и чувствует только их отечество; человечество же не хочет и не может их знать.

Но чтобы литература и для своего народа была выражением его сознания, его интеллектуальной жизни, – необходимо, чтобы она была в тесной связи с его историей и могла служить объяснением ей, необходимо, чтобы она развилась органически и имела свою историю. Без этих условий, каково бы ни было количество книг на языке того или другого народа, – оно доказывает только то, что у этого народа существует книгопечатание и процветают типографии; но совсем не то, чтобы у него была литература. Больше или меньшее число писателей, даже с замечательными дарованиями, также доказывает только то, что у народа есть люди, которые нашли свои причины и побуждения составлять и издавать в свет книги; но опять-таки совсем не то, чтобы у него была литература. Еще менее может служить доказательством существования литературы книжная торговля: она доказывает только существование в народе более или менее значительного числа грамотных людей, которым надобно же что-нибудь читать, хотя от скуки и для рассеяния, или по незнанию иностранных языков, или по особенной симпатии ко всему родному, отечественному. Подобными чисто внешними доводами нельзя доказать существования литературы у того или у другого народа. Правда, без книг, без писателей

и без читателей невозможна никакая литература, как невозможен театр без сцены, без репертуара, без актеров и публики; но только одни книги, писатели и читатели еще не составляют собою литературы: ее производит дух народа, выражающийся в его истории и потому литературу может иметь народ существующий не эмпирически только, но и нравственно, духовно развивающий своею жизнью какую-нибудь сторону общечеловеческого духа, словом, народ, который существует по праву, необходимо, а не случайно.

Было время, когда мы, русские, имели огромную литературу, которая не только не уступала ни одной из известных литератур древнего и нового мира, но и далеко превосходила и каждую из них порознь и все вместе. Третьяковский «полезными своими трудами приобрел себе бессмертную славу». Ломоносов был «Малерб наших стран и Пиндару подобен», кроме того, —

Что в Риме Цицерон и что Virgilius был,
То он один в своем понятии вместил.

Сумароков «различных родов стихотворными и прозаическими сочинениями приобрел себе великую и бессмертную славу не только от россиян, но и от чужестранных академий и славнейших европейских писателей, и хотя первый он из россиян начал писать трагедии по всем правилам театрального искусства, но столько успел во оных, что заслужил

название *северного Расина*; его еклоги равняются знающими людьми с виргилиевыми и поднесь еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищем российского парнасса; и в сем роде стихотворения далеко превосходит он Федра и де ла Фонтена, славнейших в сем роде». Петров победил в своих одах Пиндара. Хераскову не нанесут вреда зоилы: Владимир и Иоанн покроют его щитом и проведут в храм бессмертия.

Херасков наш Гомер, воспевший древни брани,
России торжество, падение Казани.

Державин – северный Пиндар, Гораций и Анакреон, далеко превзошедший южных – Пиндара, Горация и Анакреона. Богданович в своей «Душеньке» победил Лафонтена. Но мы бы долго не кончили, если бы стали исчислять всех русских поэтов и писателей, которые превзошли и победили поэтов и писателей всего мира. Так детски тешили свое самолюбие неразвившийся вкус и неопытная критика. Подобное направление общественного мнения в пользу русской литературы, впрочем, было более полезно, нежели вредно, потому что это невинное самообольщение рождало в пишущих людях охоту к литературным трудам, а в публике – охоту читать их литературные труды. В свое время это самообольщение начало проходить, потому что стали являться вольнодумцы, которые вооружились против незаслуженных и пре-

увеличенных авторитетов. В своем месте мы покажем заслуги этих смельчаков. Но решительная потребность сознания значения и важности русской литературы, истинной оценки заслуг русских писателей обнаружилась не более как лет десять назад тому. Вдруг, к изумлению одних, к оскорблению других, раздался смело предложенный вопрос: «есть ли русская литература? существует ли русская литература?» Разумеется, тот, кто первый предложил этот вопрос, тогда же решил его отрицательно, невольно увлекшись сомнением, которое им первым было высказано.^[3] И хотя отрицательное решение этого вопроса было ошибочно, однако оно принесло большую пользу, возбуждивши споры *за* и *против* и заставивши всех не шутя подумать о том, о чем они так утвердительно говорили по привычке, и беспристрастнее рассмотреть слишком восторженно признанные заслуги писателей. Результатом этих споров и исследований было сознательное признание существования русской литературы, но только в ее действительных размерах, в ее действительной важности. Но доселе такое признание существовало только как журнальное мнение, отрывочно и по временам высказывавшееся по разным случайным поводам и более или менее отзывавшееся в публике; но еще не было предметом отдельного сочинения, в котором идеи были бы оправданы исторически-критическим изложением фактов литературы, а в фактах была бы прослежена оживляющая их идея. Вот задача, решение которой составляет содержание книги, которая, под

именем «Критической истории русской литературы», предлагается теперь благосклонному вниманию читателя.

Несмотря на подражательность и ее неизбежный результат – риторизм русской литературы, от Ломоносова до Пушкина; несмотря на то, что и от Пушкина до настоящей минуты содержание русской литературы довольно скудно и большею частию состоит из идей, возникших и развившихся не на туземной почве; несмотря на то, что сумма произведений русской литературы, ознаменованных печатью сильного самобытного таланта и блистающих не относительными, а безусловными достоинствами, очень не велика; несмотря на то, что масса читающей русской публики ничтожна в сравнении с массою нечитающей публики, что даже эта небольшая читающая публика разделяется и подразделяется на множество различных и дробных сторон, почти ничем не связанных одна с другою, и что самая высшая литературная публика у нас до сих пор состоит преимущественно из самих же литераторов, которые, в свою очередь, несмотря на их малочисленность, тоже разделяются на множество почти ничем не связанных между собою котерий, – несмотря на все это, существование русской литературы есть факт, неподверженный никакому сомнению. Но действительность этого факта очевидна только тогда, когда на русскую литературу будут смотреть как на мир, хотя небольшой, но существующий по своим собственным законам и развивающийся своим собственным путем. Оттого и могло родиться сомнение в существова-

нии русской литературы, что на нее хотели смотреть, как, например, на древнегреческую и латинскую и новейшую французскую литературы, сравнивали ее с ними, требовали от нее непременно тех же явлений, какими были ознаменованы эти литературы; и потому наших поэтов называли русскими Гомерами, Вергилиями, Пиндарами, Горациями, Анакреонами, Федами, Лафонтенами, Расинами, потом – Шиллерами, Байронами, и т. п. Начало и развитие русской литературы – совершенно особенное, не имеющее себе примера ни в одной литературе мира, так же как и развитие русского народа. И вот здесь-то является, во всей своей очевидности, та истина, что литература есть выражение жизни своего народа и что история литературы тесно слита с историей народа. Всемирно-исторического значения русская литература никогда не имела и теперь иметь не может. Российская империя, созданная Петром Великим, имеет теперь всемирно-историческое значение в политическом смысле, занимая почетное место между первостепенными державами Европы и оказывая могущественное влияние на весь политический мир. Но Россия, но народ русский находятся еще <в> одном из первых моментов процесса своего только что начинающегося развития; они не успели еще установиться и определиться, вырасти до самих себя – и потому не могут претендовать на умственное всемирно-историческое значение в современном человечестве. Что России готовится великое будущее, что русское племя носит в себе плодотворное

зерно субстанциальной жизни, которое некогда должно развиться в величественное, широколиственное дерево, – такое предположение и теперь не чуждо достоверности; но в чем будет состоять это великое будущее, какое мирозерцание разовьется из субстанции русского народа, даже в чем именно состоит субстанция его духовной природы, – этого теперь определить нельзя, а фантазировать об этом и бесплодно и нелепо.

Русский народ в этом отношении похож на гениального ребенка: его физиономия уже значительна и обещает много в будущем, но детским чертам его лица еще недостает определенности и по ним еще нельзя сказать, по какой дороге и как именно пойдет это гениальное дитя, когда сделается взрослым человеком. И потому нам должно пока отказаться от всяких притязаний сравнивать и равнять русскую литературу с французскою, немецкою и английскою, – хотя в то же время нельзя сказать, чтобы мы вовсе лишены были права сравнивать, равнять (и даже иногда ставить выше) иные отдельные произведения нашей литературы тоже с отдельными произведениями других литератур; но в отношении чисто художественном, а не философски-историческом. Наша литература исполнена большого интереса, но только для нас, русских, потому что в ней выразилось наше собственное развитие, общественное и человеческое. Другими словами: наша литература имеет для нас великое значение не в одном эстетическом, но еще более в историческом значении.

Русская литература тем отличается от всех других литератур, что она не возникла самобытно и непосредственно из почвы народной жизни, но была результатом крутой общественной реформы, плодом искусственной пересадки. И потому она сперва была подражательною и риторическою, бедною содержанием, скудною жизнью. Если бы она навсегда осталась такою, она была бы не литературою, а книжничеством и не заслуживала бы никакого внимания. Но в отношении к нашей литературе, может быть больше, нежели во всяком другом отношении, и обнаружилась вся плодovitость и жизненность искусственной реформы Петра Великого. Чтоб убедиться в этом, стоит только сравнить поэта Ломоносова с поэтом Пушкиным, сатирика Фонвизина с юмористическим поэтом Гоголем: какая бесконечная разница! Кажется, между этими людьми легли целые века, тогда как их едва разделяет одно столетие! И это развитие подражательной и риторической, школьной и книжной поэзии в самобытную и художественную, живую и доступную обществу совершилось постепенно, органически. Державин уже более поэт, нежели Ломоносов; Озеров более поэт, нежели Сумароков и Княжнин; за баснописцами даровитыми, но подражательными — Хемницером и Дмитриевым, является гениальный и народный баснописец Крылов; Карамзин, преобразовав ломоносовскую прозу, приближает ее к естественной русской речи и прививает к русской литературе элементы изящного французского публицизма, а Дмитриев роднит русскую поэзию с

духом и манерою изящной светской поэзии французов, и оба они далеко опережают своих предшественников в легкости языка и даже в поэтическом выражении стиха; Жуковский прививает к русской поэзии романтические элементы германской и английской поэзии; Батюшков вносит в русскую поэзию элементы пластически-художественного созерцания жизни и ее выражения в духе древнеклассической поэзии, – и оба они далеко опережают Карамзина и Дмитриева в фактуре стиха, не говоря уже о поэзии выражения. За ними, наконец, является Пушкин, поэт и художник по преимуществу, окончательно преобразовывает язык русской поэзии, возведя его на высочайшую степень художественности, – и с ним первым является в русской литературе искусство, как искусство, поэзия – как художественное творчество. В Пушкине вся предшествовавшая ему изящная литература русская; прежде чем он стал самобытным и национальным поэтом-мастером, он был поклонником и учеником предшествовавших ему поэтов, и все сделанное ими усвоил в свою собственность, явивши красоты и достоинства, которых они не являли, и не повторивши их недостатков. И потому есть живая, органическая связь между Ломоносовым и Пушкиным, как между причиною и ее следствием.^[4] И вот эта-то живая, органическая последовательность развития русской литературы и дает ей столько же права называться «литературою», сколько и те яркие, даже великие, хотя и немногие, таланты, которыми она по справедливости может гордиться-

ся, и больше всего удостоверяет в ее существенном достоинстве в настоящее время и в ее способности приобрести некогда всемирно-историческое значение. Прежде русская литература подражала букве иностранной, учась словесному выражению; после она стала усваивать себе элементы различных национальностей Европы, и это усвоение, долженствующее обогатить и сделать ее многостороннею, еще и теперь продолжается и еще будет продолжаться. К особенным свойствам русского народа принадлежит его способность, протекающая из его положения к Европе, усваивать себе все чуждое, ничем не увлекаясь, ничему не покоряясь исключительно. Только в недавнее время началось сближение между собою французской и германской национальности, но и теперь еще так трудно для француза понять немца, а для немца – понять француза. Русский легко понимает обоих их и легко понимает, отчего так трудно им понять друг друга, но сам от этого не делается ни французом, ни немцем. Короче: русский человек еще не живет, а только запасается средствами на жизнь, беря их везде и всюду, где ни встретит, – и видно, богата должна быть жизнь его в будущем, если для нее ему нужен такой огромный запас!

Очень понятно, отчего родился у нас вопрос: существует ли русская литература? Его произвели, с одной стороны, ребячество нашего литературного самообольщения, которое во всяком русском писателе хотело видеть то Гомера,

то Пиндара; с другой стороны, односторонняя точка зрения на русскую литературу. Если смотреть только с художественной точки зрения на наших старых писателей, то не только какие-нибудь Сумароков, Херасков и Петров, даже Ломоносов – мало того – сам Державин лишится почти всего своего значения и перестанет казаться не только великим, даже замечательным явлением в области русской поэзии. Но исключительно эстетическая точка зрения, как всякая односторонность, всегда доводит до ложных заключений: и потому при суждении о литературе, кроме эстетической точки зрения, нужна еще и историческая. И вот с этой последней точки зрения, не только Державин – и Ломоносов получает великое значение в русской литературе, не только как писатель вообще, но и как поэт. Даже Сумароков, Херасков и Княжнин, которых так легко совершенно уничтожить с эстетической точки зрения, – с исторической, напротив, получают полное оправдание и являются в русской литературе именами замечательными и почтенными. Эти трудолюбивые люди своею деятельностью, хотя и ошибочною, размножали на Руси книги, а через книги – читателей, распространяли в обществе охоту и страсть к благородным умственным наслаждениям литературою и театром, – и таким образом, мало-помалу, приготовили для Карамзина возможность образовать в обществе публику для русской литературы. Несмотря на то, что эта публика еще и теперь слишком немногочисленна в сравнении с массою целого общества и тем бо-

лее с массою всего народа и что, при ее малочисленности, она поражает взор наблюдателя разнохарактерностию, пестротою и противоречием своих вкусов, понятий и требований – не подлежит никакому сомнению, что у нас есть уже и публика, так же, как есть и литература. Это доказывается тем, что бездарность, мелочная талантливость и ложная оригинальность пользуются у нас только мгновенным, хотя иногда и сильным успехом, тогда как истинный талант, истинная гениальность скоро оцениваются, оказывают на публику огромное влияние и приобретают прочную известность, прочную славу. Пушкин при своем появлении был встречен и восторгом и негодованием, но первый скоро одержал верх, и скоро гениальность Пушкина безусловно была признана всем обществом. «Горе от ума» Грибоедова еще в рукописи было прочитано всею Россиею. Лермонтов, при первом своем появлении на литературном поприще, обратил на себя изумленные взоры всего общества и, несмотря на свою преждевременную кончину, остался во мнении публики великим поэтом. Но никто из русских писателей не возбуждал такого общего и такого энергического негодования и никто из них с таким блеском и торжеством не победил его, как Гоголь. Встреченный с энтузиазмом только немногими головами, во всех остальных возбудил он ропот оскорбления и негодования, очень естественный и понятный по духу сочинений Гоголя и по отношению их к обществу; но – удивительное дело! – с равною жадностию был он читаем и пере-

читываем как своими почитателями, так и своими хулителями. Наконец истина взяла свое, и общественное мнение торжественно признало Гоголя великим национальным поэтом. Таких примеров, доказывающих, что все истинное, все живое скоро приобретает симпатию и признание русской публики, очень много.

Написать историю русской литературы, значит: показать, каким образом, как следствие общественной реформы, произведенной Петром Великим, началась она рабским подражанием иностранным образцам, принявши чисто риторический характер; как потом, постепенно, стремилась к освобождению из формальности и риторизма и приобретению для себя жизненных элементов и самостоятельности; и как, наконец, развилась до полной художественности и сделалась выражением жизни своего общества, стала русской. Вместе с этим должно показать, что русская литература положила у нас основание публичности и общественного мнения, была проводником в общество всех человеческих идей и постоянно, не без успеха, боролась с предрассудками и пороками, завещанными нам невежественною, полуазиатскою стариною.

Но прежде, нежели приступим мы к изложению истории русской литературы, считаем за нужное бросить взгляд на нашу народную поэзию. Хотя художественная русская литература развивалась не из народной поэзии, однако первая, при Пушкине, встретилась с последнею, и вопрос о народной русской поэзии и теперь принадлежит к числу самых инте-

ресных вопросов современной русской литературы, потому что он сливается с вопросом о *народности в поэзии*. По рассмотрении произведений народной русской поэзии мы бросим беглый взгляд на произведения древней и старой русской словесности, которая не принадлежит ни к богословию, ни к хроникам, так как ни то, ни другое не входит в состав нашей книги, предмет которой – исключительно светская изящная (беллетристическая) литература.

Примечания

Впервые напечатано Кетчером по черновой рукописи, в издании сочинений Белинского К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1862, ч. XII, стр. 393–443). В настоящее издание воспроизводится по подлинной рукописи, хранящейся во Всесоюзной библиотеке им. Ленина, № 9494.

Статья представляет главу «Критической истории литературы», написана, очевидно, вслед за предыдущими статьями в 1841 году. Заглавие статьи принадлежит Кетчеру, а не Белинскому.

Белинский начинает с того, что литература является зеркалом, отражающим в типизированных образах («идеалах» – по терминологии Белинского) различных ступеней исторического развития общества. Из этого вытекает понимание литературы, как воплощения общенародных стремлений и исканий. «Литература есть последнее и высшее выражение мысли народа, проявляющейся в слове». Отсюда вытекает и понятие *публичности*. Литература имеет «определенную арену в живом интересе общества», – читаем мы в одном из зачеркнутых мест. Только в литературе, – отражающей «сознание народа, исторически выразившееся», он видит подлинную литературу. Греция привлекает его внимание именно свободой, существовавшей для ее граждан, участием в

их делах государственных и общественных, наконец всеобщим образованием членов греческой республики. Но Белинский видит, что уже вырисовываются контуры «новой Эллады», социалистического общества, а следовательно, и контуры новой подлинно народной литературы. Он видит, что наука мирится с жизнью, искусство проникается общественными интересами, и «скоро или еще не скоро, но придет же время, когда в новом человечестве воскреснет древняя Греция, лучше и прекраснее, чем была она: Греция, прошедшая через христианство, победившая климаты, природу, пространство и время, вполне покорившая духу своему царство материи: в новом обществе верование будет общественным разумом и знанием, а знание верованием; верование будет источником живой деятельности, и живая деятельность будет верованием, и будет новая земля и новое небо». Недаром последние строки Белинский вычеркнул, вспомнив, очевидно, о цензуре.

Белинский рассматривает русскую литературу как огромное социальное явление: она имеет значение не только для одной России, ибо в ней выразилось развитие общечеловеческих, гуманистических идей; и для нас, и для мира она имеет «великое значение не в одном эстетическом, но еще более в историческом значении».

Естественно, что на этой теоретической основе им уже прочно утверждается существование оригинальной и замечательной русской литературы, которая «сделалась выраже-

нием жизни своего общества, стала русской». Вместе с тем русская литература «положила у нас основание публичности и общественного мнения, была проводником в обществе всех человеческих идей, и постоянно не без успеха боролась с предрассудками и пороками...»

Комментарии

1.

Позднейшие публикации памятников древнерусской литературы доказали, что в ней существовала не только теологическая, но и светская литература.

2.

В рукописи испорчено, даем по изданию К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

3.

Белинский говорит о «Литературных мечтаниях», в которых он провозгласил, что у нас нет литературы.

4.

Белинский рассматривает прошедшую литературу о точки зрения подготовки появления Пушкина. Наиболее развернута эта мысль в статьях «Сочинения Пушкина» (т. III наст. изд.).